

619.366

В. Кардин

Пристрастие

В. Кардин

ПРИСТРАСТИЕ

**Очерки
о писателях
и литературе**

619.366

**СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА 1972**

Последним вздохом, последним словом...

На моем столе все выше поднимается стопка книг разного формата, разных изданий с несхожими переплетами. Вот в глянцевиных корочках: «А. Крайский. Улыбки солнца». Над фамилией полукругом: «Библиотека Пролеткульта». Внизу: «Петроград. 1919». А рядом пунцовый картон: «Имена на поверке» — антология, выпущенная в 1963 году. Под ним — серо-суровая обложка сборника «Сквозь время», год издания — 1964-й.

Возле книжной стопки — папка с вырезками, письмами, блокнотами, копиями документов.

Я перебираю книги: Алексей Лебедев, Евгений Фомин, Иосиф Уткин, Михаил Троицкий, Витаутас Монтвила, Георгий Суворов, Александр Гаврилюк, Джек Алтаузен, Кость Герасименко, Юрий Инге, Али Шогенцуков... Почему они лежат вместе, что объединяет непохожих друг на друга поэтов?

Ответом на этот вопрос — венчающий стопку синий том с золотым тиснением: «Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне», выпущенный в Большой серии «Библиотеки поэта».

Они пали в приграничных

схватках, в боях под Москвой и Сталинградом, в сражениях на Курской дуге и на Днепре, в небе над Будапештом и Берлином. Одни приняли смерть, прорываясь из окружения, другие — в гестаповских застенках и бараках лагерей для военнопленных, третьи — на явочных квартирах подпольщиков, четвертые — при выполнении партизанских заданий.

Последнюю точку в их биографии и их стихах ставила пуля, осколок мины, бомбы.

Но перечисленные книги, названные имена — лишь часть, далеко не исчерпывающая списка. И объемистый том с золотым тиснением — сорок восемь поэтов — тоже не исчерпывает.

Каких-нибудь пятнадцать лет назад хватило бы, пожалуй, пальцев на двух руках, — так мало фамилий было нам известно; мы еще не представляли себе в полной мере размеры потерь на поэтическом фронте.

Однако идут годы, и, вопреки им, из безвестия вырываются новые имена, звучат новые, думалось — забытые строки. К радости обнаружения примешиваются боль и горечь — все яснее, какие одаренные поэты, какие достойные люди вырваны войной из литературного строя. Сколько их!

Сборники выходят в столице, в Закавказье, Средней Азии, в областных центрах. Книги погибших поэтов и книги о поэтах. Издательство «Советская Россия» выпуском «Пяти обелисков» начало серию книг поэтов, павших в боях за Родину.

Но и самая обстоятельная библиография не даст полной картины. За ее пределами останется часть имен. Одни из них проскользнут в газетных или журнальных статьях-воспоминаниях, другие — в письмах.

Так мы узнали о Лёне Крапивникове — «мальчике из нашей юности» («Известия», 2 декабря 1967 года), балагуре и фантазере, добряке и мечтателе. Но и человеке дела, решительного поступка, смелого шага. «Мальчик» был парашютистом, летчиком, десантником. Еще в 1937 году он сложил «Испанскую песню»:

юных поэтов с будущим врагом, тогда впервые, хоть и приблизительно, обозначились для них размеры опасности, надвигающейся на Родину.

* * *

Им, начинавшим накануне войны, в ту пору известным лишь друзьям и сокурсникам, оставившим — и то не всегда — перед уходом на фронт густо исписанные тетради, и посвящена эта главка моих заметок. Такое выделение — заранее согласен — чем-то произвольно, — они не составляли некоей обособленной группы и были бесконечно разнолики. Однако без них, тогда юных поэтов, ныне нельзя составить полное представление о поэзии Великой Отечественной войны. И еще одно, чисто личное соображение: мне они ближе, понятнее, иные их строчки я помню с тех далеких дней. И говорить о них мне хочется по праву однолетка, по долгу вернувшегося.

Они были примерно сверстниками — Михаил Кульчицкий и Николай Майоров, Мирза Геловани и Симеон Моспан, Микола Сурначев и Василий Кубанев, Мухарбек Кочисов и Павел Коган, Георгий Суворов и Борис Смоленский. . . Они различались мерой дарования, литературными пристрастиями и учителями. Одни пробовавали перо еще в школе, на студенческой скамье, и их опыты сохранились на страницах юношеских дневников, вырванных из тетрадей листках, на столбцах старых стенных газет и забытых многотиражек. О таланте и творчестве других мы судим по чудом сбереженным письмам и фронтовым блокнотам (сколько таких писем и блокнотов бесследно исчезли!), по растрепанным подшивкам дивизионок.

Но и те и другие были детьми своего времени, не всегда покорными, но всегда верными. Их первые стихи — естественный отзвук событий, будораживших мальчишеское воображение. Даже не отзвук — форма живого участия в таких событиях. Молодые поэты входили в литературу с ощущением своей неотделимости

от страны с ее тревожной и величественной судьбой, от мира, охваченного предвоенным напряжением, от земли со всем богатством ее красок, запахов, звуков.

Для них, которые родились и формировались в советское время, приобщение к жизни начиналось с первых классов школы. Октябрята пели: «Братишка наш Буденный...» В призывах пионерского горна слышались переливы кавалерийского рожка.

Свершавшееся вокруг захватывало с необычайной силой, вызывало потребность все потрогать своими руками, во всем убедиться воочию. Страсть к путешествиям владела едва ли не каждым бравшимся за перо. Вот почему в их биографиях нередко встречается фраза: «Много ездил по стране». Павел Коган, на время оставив школу, отправился по деревням средней полосы. Ему, городскому юноше, надо было не по газетам, а самому понять, увидеть, что такое колхозы.

Для будущих, нетерпеливо подхлестывающих свой рост поэтов, как и для поэтов старших поколений, первоисточником служила сама действительность в бесконечном многообразии проявлений. Она манила к себе, рождала неиссякаемую любознательность и беспредельное доверие.

Борис Смоленский увлекался Гарсиа Лоркой, мечтал о море и вглядывался в «ясные озерные глаза» Карелии. Еще мальчиком вместе с отцом-журналистом он ездил по стране, побывал на Урале. В 1937 году по клеветническому навету арестовали отца. Но это не сломило его, не убило интерес к жизни, веру в людей, искусство. В 1938 году он написал лишь несколько лет назад напечатанные стихи во славу упорства, одержимости, любви и великого счастья творить, стихи о ремесле поэта.

Шестнадцатилетним пареньком отправился в странствия Владимир Занадворов. Он рано определил свое призвание: геология и поэзия. И, повинаясь их согласному зову, двинулся в поход. Побывал на Кольском полуострове, на Крайнем Севере, за Полярным кругом, в Казахстане.

«...Нас, подростков, — писал Занадворов, — властно влекла к себе жизнь, и нам, конечно, не сиделось дома.

Потрепанные учебники были закинута в угол, на ноги обуты походные сапоги, и ветер скитаний обжигал щеки».

Все, что открывалось начинающим поэтам предвоенной поры в людях, учении, книгах, вызывало одухотворенный интерес. Жизнь рождала неиссякаемый душевный подъем, помогала найти краски, подсказывала слова, сравнения. Симеон Моспан уподобляет родную Молдову виноградной лозе, Мирза Геловани пишет о жизни, полной надежд, Дарижап Дамдинов мечтает сложить песню, которая станет украшением народной радости.

Они были гражданственны с юных лет, гражданственны по духовному складу, внутреннему побуждению, наконец, по литературной традиции, их питавшей. Поэтому, возможно, некоторые из них отдали меньшую дань формальным исканиям, чем иные начинающие поэты других поколений, им в общем-то было не до того. Не исключено, что подобные поиски начались бы позже, когда творческая зрелость потребовала бы большего интонационного и ритмического разнообразия. Они писали с упоением романтиков, с молодым энтузиазмом созидателей и бойцов. Они утверждали богатство жизни, сознавая себя частью ее.

Они знали «одну, но пламенную страсть» — стремление к счастью людей, страны, человечества. И верили: это счастье творится сегодня, к нему причастны и их стихи и их повседневная работа. Такое понимание было отнюдь не прямолинейным, не упрощенным. В одном из писем Василий Кубанев размышлял:

«...Счастье не только в радости. Счастье во всем: и в горе, и в скрежете зубовном, и в отрешенности, и в покаяниях, и в ошибках, и в каторжно-тупой боли, которая взялась невесть откуда и душу собой глушит и давит. Счастье — в познании, в понимании. А понимать можно только действие. Всякое действие, даже самое

маленькое, самое будничное, надо направлять лицом к человеку. Всегда спрашивай себя: «Я могу сейчас сделать вот то-то и то-то. Что из них полезнее людям, народу моему? Вот это. Значит, это я и сделаю сейчас». Все для народа.

Нам много надо сделать. Нам много надо знать. Как можно больше! Только узнавая жизнь во всех ее проявлениях — в скорби, и в радости, и в грубости, и в мелкости, и в чуждости, и в страхе, и в нужде — во всем, можно быть счастливым».

Как быстро они выросли, впитывали в себя впечатления бытия, как много старались извлечь из своего недолгого житейского опыта!

Они жили с сознанием величайшей ответственности, возложенной историей на их еще молодые плечи, с ощущением личной причастности ко всему создаемому и творимому народом.

Вот строки Михаила Кульчицкого:

Наши будни не возьмет пыльца,
Наши будни — это только дневка,
Чтоб в бою похолодеть сердцам,
Чтоб в бою нагрелися винтовки.

Чтоб десант повис орлом степей,
Чтоб героем стал товарищ каждый,
Чтобы мир стал больше и ясней,
Чтоб была на песни больше жажда.

Вот — Павла Когана:

Есть в наших днях такая точность,
Что мальчишки иных веков,
Наверно, будут плакать ночью
О времени большевиков.

И будут жаловаться милым,
Что не родились в те года,
Когда звенела и дымилась,
На берег рухнувши, вода.

Грубоватый, по-солдатски «печатающий» шаг стих Кульчицкого с его настойчивыми повторами и светлые лирические строки Когана, где те же будни окидывают

ся задумчивым взглядом «мальчиков иных веков», пронизаны единым и общим ощущением необычности своего времени.

Настоящее для них существовало как продолжение прошлого — Октября, гражданской войны — и как завязь грядущего — мировой революции, освобождения человечества, покорения Вселенной. Потому им была так близка революционно-романтическая поэтика двадцатых и тридцатых годов. Отсюда «дневка», «винтовка», «орел степей», «рухнувшая вода». Говоря о своем времени, они частенько брали приметы героического вчера, то есть дня, уже ушедшего в историю. Для них он еще продолжался, они не хотели, не могли с ним расстаться. Возможно, поэтому довольно редко и не лучшим образом писали «на злобу дня».

У Николая Майорова есть стихотворение «Отцам», где он рассказывает о своем детстве. Нет, «в нем не было ни Монте-Кристо, ни писем тайных с желтым сургучом». В семье ивановского рабочего жили иными воспоминаниями, иной романтикой.

С детальной точностью — будто он сам все это видел (Майоров родился в 1919 году) — воссоздается сцена ареста отца: пристав, штыком вспарывающий перину, худые, сгорбленные спины солдат, отец, выплюнувший в ладонь багровый зуб, какой-то бог, важно нахмуривший брови на выцветшей иконе, и мать, как птица, бьющаяся в рыданиях.

Мне стал понятен смысл отцовских вех.
Отцы мои! Я следовал за вами
С раскрытым сердцем, с лучшими словами,
Глаза мои не обожгло слезами,
Глаза мои обращены на всех.

Активно-революционное мировосприятие было естественным, оно воспитывалось с юных лет, прививалось всей атмосферой общественного бытия.

Помнишь — с детства —
рисунок:
чугунные пути

Человек сшибает
с земшара грудью! —

писал М. Кульчицкий в «Самом таком». Этот образ символизировал и мир, и назначение в нем поэта.

Вместе с плакатом, памятным с детства, пришла неистребимая интернационалистская вера. И Кульчицкий без тени сомнения предрекал:

Только советская нация
будет!
И только советской расы люди!

В безоговорочности такого прогноза есть наивность, свойственная М. Кульчицкому и его сверстникам. Особенно когда они предрекали будущее. Беда ли это? Изначальная устремленность советской поэзии навстречу мировой революции, Всемирной Республике Советов больше всего отвечала юношеским мечтам, духовным порывам. «Интернационал» был не просто гимном, но знаменем, под которым мечтали жить, писать, драться, а коль потребуется — умереть.

Поэтому с такой страстью, болью, тревогой отозвались они на бои, разгоревшиеся под небом Испании. Здесь продолжалась революция, здесь нависала над ней опасность. Сюда устремлялись они сердцем, мыслью, стихом.

...Взорвали сон Гвадалквивира
В крови погрязшая мортира,
От крови черные полки.

Сонный Гвадалквивир и — черные от крови полки... Отталкивание от литературного образца в поисках злободневного образа...

В самом начале ратного пути Всеволода Лободы и многих его сверстников стояла Испания. Она дала им впервые почувствовать себя солдатами «от крови черных полков».

Написанное в студенческую пору стихотворение Леонида Шершера об Испании называлось «Сон». Оно — первое из опубликованных «взрослых» стихов

молодого поэта («детские» печатались еще в «Пионерской правде»).

Я не знаю, надо иль не надо
Сны свои рассказывать в стихах.
Только возле города Гренады
Я сегодня ночевал в горах.
Я видал, как проходили грозы,
Слышал — толпами издалека
Проплывали верхом бомбовозы,
Низом проплывали облака.
После снов тяжелых, после боя,
После гулких вздохов батарей
Небо над Испанией такое,
Как весной над Родиной моей.

Один из оставшихся в живых представителей этой поэтической поросли, Сергей Наровчатов потом писал: «Мне вспоминается август 1938 года, когда я со своим другом белорусом Михаилом Молочко (Молочко погиб через полтора года в Финляндии. — В. К.) лежал на жгучем песке Черноморья и вглядывался в очертания испанского парохода, стоявшего на рейде.

Я хату покинул,
Пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать, —

задумчиво повторял Михаил светловские строки. И вдруг, приподнявшись на локтях, спросил полувопросительно-полуутверждающе: «Поедем?..» Это была не шальная мальчишеская блажь, заставлявшая когда-то гимназистов бежать в Америку. Нет, этот юношеский порыв был подготовлен всей нашей биографией...»

Молодые настойчиво искали точку зрения, которая обеспечивала бы широту обзора, глубину постижения. Такое давалось не легко. Бывали ошибки, неудачи, срывы. Следование добротным образцам не гарантировало от подражательства. Но не прекращались «вечные искания крутых путей к последней высоте». Путеводной нитью служило чувство революционной преемственно-

сти, формировавшее их на трудном рубеже тридцатых и сороковых годов.

Это чувство, постоянная жажда практических действий предохраняли и от ухода в заоблачные дали, и от сытого самодовольства. Все, что просилось на бумагу, вызывало активную реакцию человека, созидającego будущее.

Мирза Геловани в стихотворении, посвященном Ленину, говорит о силе, какую ему дают революция, вечно хранимый образ вождя:

И снова жизнь моя полна надежды,
Усталость — прочь,
и я готов опять
Осуществлять задуманное прежде,
Не соглашаться,
пробовать, дерзать.

(Перевод Ю. Полухина)

В Тбилиси вышли четыре сборника Мирзы Геловани, в Москве — сборник «Осенний вечер». Его стихи — яркие, многокрасочные — целыми циклами печатались в белорусских газетах и в журнале «Полымя».

Лейтенант Геловани погиб в боях за Белоруссию, спустя девятнадцать лет пионеры нашли могилу поэта и известили об этом его мать. Школа в белорусском селе носит имя грузинского поэта.

Он был учеником и поклонником Галактиона Табидзе, на его суд смело отдал первые свои стихи. Это было в 1936 году. Мирза Геловани жил в маленькой комнатухе на Цхнетской улице, возле хлебопекарни, рядом с университетом.

«И по дороге на лекции, — пишет Реваз Маргиани, — и обратно твой дом служил нам пристанью. Теплый грузинский хлеб, кисть винограда — вот и весь наш завтрак, и стихи, стихи, стихи. . .

Разве я могу забыть, Мирза, как в 1939 году мы провожали тебя в армию?»

Да, вначале были стихи, потом — армия, потом — война. Но стихи продолжались и в армии, и на войне — до последнего дня.

Радость заставляет меня петь даже во сне.
Солнце спрятано в моей груди,
До рассвета гремит где-то поток,
Лаает собака и кричит петух. . .

(Подстрочный перевод)

«Твое тело, лейтенант, поэт Мирза Геловани, — обращается к погибшему другу Реваз Маргиани, — покоится далеко от Грузии, в деревне Санки Витебской области. А на твоей родине — Тианети в цветущем саду стоит маленький памятник. И каждое лето мы поднимаемся в горы, приносим тебе цветы, вспоминаем твои стихи, которые, как мне кажется, никогда не будут забыты. . .»

Всей душой преданный поэзии, искусству — Мирза впервые появился в Тбилиси с тетрадкой своих стихов и с переписанной от руки книгой Сулхана-Саба Орбелиани, — он в дни войны чувствовал себя солдатом, прежде всего солдатом. И думал о будущем. Об этом писал домой:

«Война началась, я знал, что она начнется. Верьте, родные мои: если жизнь моя оборвется на этой войне, если мне суждено умереть, врагу дорого обойдется моя гибель! И пусть вам никогда не станет стыдно, что я плоть от плоти вашей, кровь от крови. . . Теперь вы можете сказать, что я защищаю родину, чтобы грядущие поколения росли здоровыми, счастливыми, крепкими. . . Отчизну я люблю больше собственной жизни. . . Это самая грозная война из всех, когда-либо бывших на земле. . . И, наверное, нигде, никогда ни у кого не было такого большого сердца, как теперь у меня и у моих друзей. . .»

Молодая поэзия на войне и в предвоенные годы дышала неукротимой действенностью, духовной активностью. Влюбленно принимая жизнь, она мечтала сделать ее светлее, чище, совершеннее, готова была биться за это. И билась. Ее самопожертвование — продолжение любви к жизни и Родине, благородной тревоги за будущее.

«Больше всего следует бояться безразличия, равнодушия, апатии», — писал В. Кубанев.

«Самое страшное в мире — это быть успокоенным», — утверждал Михаил Кульчицкий.

Самое страшное в мире —
Это быть успокоенным.
Славлю Котовского разум,
Который за час перед казнью
Тело свое граненое
Японской гимнастикой мучил.
Самое страшное в мире —
Это быть успокоенным.
Славлю мальчишек Идена,
Которые в чужом городе
Пишут поэмы под утро,
Запивая водой ломозубой,
Закусывая синим дымом.
Самое страшное в мире —
Это быть успокоенным.
Славлю солдат революции,
Мечтающих над строфою,
Распиливающих деревья,
Падающих на пулемет.

Это, нужно сказать, осмысленное, «программное» беспокойство. Его не следует путать с бестрепетно и стандартно зарифмованными «беспокойными сердца-ми», «беспокойными судьбами», «беспокойными людьми».

Беспредметное беспокойство, лишённое высокой цели, — состояние, родственное суетливости. Лишь в том случае, когда цель не теряется, не мельчится, когда беспокойство лирического героя выражает его высшую духовную потребность и объективную потребность времени, лирика не становится камерной, а общественная поэзия — риторичной.

В послевоенные годы стало известным стихотворение Павла Когана «Гроза», давшее название посмертному сборнику.

Гроза у Когана не похожа на примелькавшиеся поэтические грозы. Целеустремленно и страстно отобранные приметы раздвигают рамки привычного сим-

вола. Они нагнетаются с нарастающим напряжением. Поэту по душе сокрушающая сила ветра и воды, стремительность и крутизна. Нет, гроза не должна уходить. А если она и уйдет, то туда, «где девушка живет моя». От этой неожиданно трогательной строки веет разрядкой, успокоенностью. А упавший выводок галчат — как бы осуждение пронесшегося вихря. Можно бы радоваться воцарившейся тишине. . .

Но стих неожиданно резко ломается, обнажая свой смысл. Тишина не нужна, в ней — равнодушие. Подобно заклятию звучат венчающие строки. Угол, нарисованный вначале, — антипод овала, олицетворяющего жизненную обтекаемость, умиротворенное безразличие:

Я с детства не любил овал,
Я с детства угол рисовал!

Они конечно же были романтиками, влюбленными в солнце, землю, земные радости. Для них было счастьем

Лежать в траве, желтеющей у вишен,
У низких яблонь, где-то у воды,
Смотреть в листву прозрачную
И слышать,
Как рядом глухо падают плоды.

(Н. Майоров)

Юношеская мечта порой уносила куда-то в неизведанные края, манила удивительными приключениями, звала в дальние моря. И тогда рождалась «Бригантина», озорная и чуть грустная песня Павла Югана во славу странствий, смелости и риска, отвергающая комнатный уют и тягучее однообразие комнатных разговоров.

Но бригантина неизменно причаливала к земным берегам. Мечта опускалась на землю. Но не мельчала, не погружалась в уныние. Ей и здесь хватало простора.

Романтика раздвигала горизонты, и строчка устремлялась через рубежи времени навстречу завтрашнему дню, завтрашним людям,

И свершилось одно из чудес искусства: лучшие их стихи — поэтическая исповедь предвоенного поколения — обрели вторую жизнь, начавшуюся спустя пятнадцать — двадцать лет после гибели авторов. Эта жизнь оказалась настолько органичной, совпадение духовных порывов настолько естественным, что стали раздаваться голоса о бессмертии юных поэтов (одна статья так и называлась: «Перед бессмертием»), о едва ли не безупречном совершенстве их творчества, — восторг вытеснял иные чувства, заставлял творить кумиры.

Все это понятно, все это объяснимо. Только вряд ли нужно им, погибшим, и тем, кто пришел вслед за ними.

Выходит, они не зря боялись посмертного фимиама, боялись, как бы их не «прикрасили и припудрили», как бы не «солгали портреты».

Было бы бестактностью по отношению к молодым стихотворцам и памяти о них приписывать им неодолимые победы, не замечать следы литературных влияний, ученической подчас зависимости от наставников. Не требуется большой проницательности, дабы обнаружить корявые, торопливые строчки, незрелые мысли, строфы и рифмы, навеянные Маяковским, Багрицким, Пастернаком, Асеевым, Сельвинским.

Молодые поэты ненавидели любую ложь, в том числе и благостно-возвеличивающую за гробовой доской. Они мечтали остаться в памяти такими, какими были. А были они не мудрецами, провидевшими истину, создавали они отнюдь не одни шедевры и далеко не всё постигли в той самой реальности, что каждодневно их окружала.

Даже в стихах, свободных от подражательства, исполненных живого восторга перед сущим, иной раз мы сталкиваемся с декларированным нежеланием осмыслить увиденное:

Мне двадцать лет. А родина такая,
Что в целых сто ее не обойти.
Иди землей, прохожих окликая,
Встречай босых рыбацек по пути.

Штурмуй ледник, броди в цветах по горло,
Ночуй в степи, не думай ни о чем,
Пока веревкой грубой не растерло
Твое на славу сшитое плечо.

Для талантливой Николая Майорова, поэта и историка, «не думай ни о чем» не совсем случайно. Энтузиастская увлеченность не всегда подразумевала умение разобраться в закономерностях открывшейся жизни. Хотя время, как никогда, требовало, чтобы его досконально осмысливали, не полагаясь на универсальные определения.

Нет, молодые разделяли и настроения, и устремления, и заблуждения своего времени. Горячо принимая его, они платили дань и иллюзорным представлениям о нем. Упустить это из виду — значит не заметить сложность их судеб, объективную противоречивость некоторых мотивов в их творчестве. Такая сложность, такая противоречивость, как ни странно, тоже способствовали второму рождению Кульчицкого, Когана, Майорова, ибо наши дни отвергают однолинейные представления, лобовой схематизм и всякую иную упрощенность в поэзии (да и не только в поэзии), ибо в трагедийности их фронтовых судеб — частица народной трагедии.

Однако, что-то не понимая, в чем-то бессильные разобраться, найти ответы на недоуменные вопросы, они обычно отвергали благостное созерцательство, умиротворенную расслабленность. Всеволод Багрицкий спорил со своим «гостем» (стихотворение «Гость»), которого устраивали общие слова, готовые формулы, для которого тревожные раздумья и беспокойные строки — «чепуха». Павел Коган в неоконченном романе в стихах напряженно, пристрастно листал страницы недавней истории и делал горькие признания в «Монолог». Незадолго до войны Михаил Кульчицкий гневно писал:

Я верю, скажем музе:

будь как дома.

Наряд тому, кто заржавил штыки.

Мы запретим декретом Совнаркома

Писать о Родине

бездарные стихи.

Молодые, еще только делая первые шаги, признавали себя бойцами пока что поэтического фронта. Они довольно отчетливо видели своего противника. То было направление, в котором господствовало не отягощенное мыслями бодрячество, казенно-лозунговый оптимизм, эмоции не столь глубокие, сколь показные. На гладкие, облегченные строки хотелось ответить резким, режущим слух словом, размашистым оборотом, неотесанным прозаизмом, хотелось, по признанию М. Кульчицкого, чтобы свистели «наших стихов угластые кастеты».

Протоколы и стенограммы собраний, семинаров, диспутов того времени сохранили следы полемики, иногда довольно горячей. Случалось, молодые смело выступали против кое-кого из признанных, препятствовавших их приходу в литературу, против серости и заниженных критериев. Взяв слово на литературной консультации при Гослите, М. Кульчицкий говорил: «Рифмовать газетные заметки не стоит». А себе в блокнот записывал: «Равняться не на стенгазету, но на будущую антологию мировой поэзии».

В письме к родным М. Кульчицкий рассказывает, как в «Московском комсомольце» напечатали его стихи о Маяковском: «Но выбросили лучшую строфу и исковеркали 2 строчки. Сейчас меня мучает: продолжать ли работу над поэзией — или начать халтурить: легче и выгодней!» С сознанием собственного достоинства, с верой в свои силы Кульчицкий добавляет: «Мы сумеем войти в литературу и поэтами, а не халтурщиками».

Недрузьями были не одни халтурщики, но и снобы, эстеты. Предстояло вести борьбу на два фронта, сохраняя свое лицо, отстаивая свои принципы.

В другом письме родным, относящемся также к апрелю 1940 года, Кульчицкий пишет: «...Решали разную мелочь, вроде дисциплины этической и начале кампании против халтурщиков и эстетов. Лозунг: кастетом по эстетам».

Пошлость, обывательщина с ее искусством приспособляемости, говорить на разные голоса, менять

маски — вот враг номер один. По нему били с гневом, трезво сознавая его живучесть (на этот счет, пожалуй, у них было менее всего заблуждений). Девятнадцатилетний Павел Коган в стихах, исполненных ненависти и боли, писал:

Куда идти, куда мне деться!
От клизм, от пошлости, от сна!
Так выручай, простое детство
И лермонтовская сосна.
И не уйти. Меня за локоть
Хватает мир их, и, рыгнув,
Он хвалит Александра Блока,
Мизинец тонко отогнув.
Я бью наотмашь, и мгновенно
Он внешне переменит суть,
Он станет девушкой надменной,
Пенснишки тронет на носу.
И голосом, где плещет клизма,
Пенснишки вскинув, как ружье,
Он мне припишет десять «измов»
И сорок «выпадов» пришьет.
Я рассмеюсь, я эту рожу
Узнаю всюду и всегда,
Но скажет милая: «Быть может»,
И друг мне руку не подаст.
И будет утро... На рассвете
Мне скажет Александр Блок:
«Иди, поэт, ищи по свету,
Где оскорбленному есть чувству уголок».

О повседневных событиях и о грядущих космических рейсах, о любви и о мужском товариществе, о первой траве и о весеннем дожде они писали с таким пристрастием и темпераментом, что их лучшие стихи не утратили своего живого звучания и в наши дни.

Они старались заглянуть за линию горизонта. И если умели различить не все, то одно разглядели совершенно ясно — войну, одно услышали совершенно отчетливо — «военный год стучится в двери». О нем и писал Михаил Кульчицкий в незавершенной поэме «Бессмертие», которая недавно найдена:

Далекий друг! Года, и версты,
И стены книг библиотек

Нас разделяют. Шашкой Щорса
Врубиться в твой далекий век
Хочу. Чтоб, раскроивши череп
Врагу последнему и через
Него перешагнув, рубя —
Стать первым другом для тебя. . .

У них было настойчивое стремление прорваться стихом в завтра, стать необходимыми людям грядущего.

Когда поезд еще не виден, его приближение предвещает глуховатый гул рельсов. Надо только приложить к ним ухо.

Вот так чутко и настороженно вслушивались молодые, улавливая издали доносящуюся оружейную канонаду.

Они выросли, сформировались в предощущении боев, подвигов, походов. Это предощущение вошло во многие стихи, даже в самые мирные, далекие от военной темы. Вошло настолько прочно, что иной раз и не знаешь, к разряду каких его отнести — «мирных» или «военных». И сами они не признавали такого деления.

Война служила рубежом, что отделял начинающих стихотворцев сороковых годов от последующих поколений. И не было иного пути к ним, кроме как через войну.

Отступали споры, сомнения, скоротечные тревоги. Все накопленное, освоенное, пережитое — лишь преддверие грядущего, лишь разгон для рывка на колючую проволоку.

С осязаемой отчетливостью рисовалась им собственная судьба и судьба поколения.

Много лет спустя, когда их стихи — по одному, по два — стали появляться на журнальных страницах, когда утвердилась рубрика «Погибшие поэты», когда одна за другой стали выходить их тоненькие книжки, читателей потрясла сила прозрения молодых стихотворцев.

Поэт Василий Субботин, — он был с бойцами, первыми вбежавшими на широкие ступени рейхстага, и пришел в литературу со стихами и былями о последних

днях Берлина, — взволнованно написал о своем почти сверстнике, которого никогда не видел в глаза, — о Павле Когане. Его поразили строчки из предвоенного, так и не оконченного романа в стихах Павла Когана:

Мальчишки в старых пиджаках,
Мальчишки в довоенных валенках,
Оглохшие от грома труб,
Восторженные, злые, маленькие,
Простуженные на ветру.
Когда-нибудь в пятидесятых
Художники от мук сопреют,
Пока они изобразят их,
Погибших возле речки Шпрее.

«Эти мальчишки — мои товарищи, — писал Василий Субботин. — Это — Белов, Чернобровкин. Это — Всеволод Лобода, песни которого и после его смерти, и после войны еще пели в полках. Это Твердохлеб, первым вклинившийся со своим батальоном в немецкую оборону на высотах за Одером и убитый просочившимися к штабу автоматчиками.

И — незнакомый мне Виктор Крыжановский, могилу которого я видел в берлинском предместье Карове.

У самой дороги, в нескольких шагах от немецкой траншеи, стоял пробитый снарядами танк. Могила его была тут же, возле танка. Глинистый холмик этот, свежевоструганная доска и — надпись: «Виктор Крыжановский первым шел на Берлин. Погиб здесь, в танке, 23 апреля 1945 года». Все помнится...

Это и тот солдат, на могиле которого написано было: «Погиб за завоевание знамени победы над Берлином».

Как я наткнулся на могилу танкиста Крыжановского, так же наткнулся я на могилу артиллериста Федора Ошмака. Он был убит, когда его орудие меняло огневые — на мосту через Шпрее. Я увидел такую же дощечку — имя его было выжжено гвоздем — и не поверил. И долго не хотел верить, что знакомый мне командир орудия Ошмак погиб...

Молодой Павел Коган будто о всех о них писал, всех

их вспомнил. Всех, кого я хорошо знал, с кем накоротке встречался и просто разговаривал, едва успев занести их фамилии себе в блокнот. Все эти мальчишки-бойцы, их столь же юные командиры — уже не в пиджаках, а в измазанных глиной ватниках, простуженные и охрипшие, падающие от усталости — оказались запечатленными — все, кто зарыт там, на берегу Шпрее, в ровиках перед рейхстагом, на том последнем рубеже».

Еще до войны Павел Коган предсказывал подвиг победителей Берлина, могилы на речке Шпрее.

Он разглядел и финал великой битвы, и космическое будущее «трехлетнего человечка», которому предстоит увидеть «чужие солнца чужих планет». Однако и туда, в космос, нет иной дороги, кроме как через «войну сорок пятого года».

Сквозь вечность кинутые дороги,
Сквозь время брошенные мостки.
Во имя юности нашей суровой,
Во имя планеты, которую мы
У моря отбили,
Отбили у крови,
Отбили у тупости и зимы.
Во имя войны сорок пятого года...

Время их не баловало, не шутило с ними. Грозными толчками оно предвещало грядущие беды.

А ныне вновь война и порох
Вошли в большие города, —

писал Николай Майоров.

Ветер далеких походов уже долетал до тесных институтских коридоров, где читали свои стихи молодые поэты.

Война все ближе подбиралась к этому поколению. Она уже пристреливалась к нему, нащупывала в прорезь.

Помню митинг в битком набитой пятнадцатой аудитории ИФЛИ — грянула советско-финская война. На кафедру, с которой древние профессора читали лекции о древних литературах, легко вскочил гибкий, тонкий

юноша в потертом синем пиджаке, бледный, густобровый, большеглазый. Расстегнут не признававший галстука ворот рубахи, смолистая прядь падает клином на крутой лоб. Он читает стихи, читает громко, напористо. Так, что каждое слово доносится до последних, круто вздымающихся к потолку рядов.

То стихи о Родине, о великом будущем, ожидающем ее. Они недавно лишь напечатаны. Есть в них строчка — ее запомнил каждый. Она словно пароль при встрече бывших студентов ИФЛИ:

...Но мы еще умрем в боях...

С мужественной гордостью и силой бросил ее Павел Коган в напряженный зал.

Прошло совсем немного времени, и от Михаила Луконина, вернувшегося с финской, мы узнали, как на Петрозаводском направлении погибли студенты Литературного института, поэты Николай Отрада и Арон Копштейн. Белофинны окружили взвод и потребовали — сдавайтесь. Николай крикнул: «Москвичи не сдаются!» Взвод прорвался. Но Отрада остался на снегу. Тогда Копштейн схватил волокушу и пополз за телом друга. Снайперская пуля обожгла плечо, но он продолжал ползти. Вторая пуля попала в голову... Весть о гибели Отрады и Копштейна принес комсорг батальона Платон Воронько.

Война исподволь входила в жизнь поэтов, все упрямее определяя их творчество и их судьбы. Кульчицкий как-то писал товарищу: «Читал стихи в одной из казарм одной из частей нашей Кр. Армии. Когда я увидел тех, для кого я пишу, у меня застлало глаза, и это как было! Ведь я чего хочу — только чтоб все стихи мои впечатать в книгу подсумочного формата, пусть и с фамилией, пусть и так».

К ним пришло понимание своего жребия.

Но когда произносят «жребий», обычно предполагают жертвенность, пассивность, обреченность. А этого не было и в помине. Было предчувствие жестокости

предстоящих боев, тяжести, которая выпадет на долю народа. Было самоотверженное желание разделить эту долю, принять самое трудное, быть может — смерть.

* * *

Война отменила поэтическую полемику, о годе рождения спрашивали лишь на призывном пункте; на передовой анкетами не интересовались, не до того было. Старшие и младшие, наставники и учителя, поэтические союзники и оппоненты, «традиционалисты» и «реформаторы» лежали в одних окопах, под одними снарядами, делали общее ратное дело, иногда — винтовкой, иногда — пером. И отдавали себя этому делу целиком, без остатка, как того требовал фронт.

Фронт — это переходы и бои, земля, взорванная снарядами, и кровь, пролившаяся на землю, это ноги, гудящие от усталости, и руки, натруженные лопатой, это сон, прерванный командой «В ружье!», — и необразишь, спал ты полчаса или сутки, — это отрешенность атаки, стоны раненых, бурные подтеки на парусине носилок... Куда здесь вклинить поэзии, как выбрать слово, которое не заглушила бы канонада?

Бои убеждали поэзию: она не просто уместна, она необходима, к ней жадно тянутся солдаты. Это сознание помогало решать задачу невероятной сложности: из омытых кровью событий извлекать жизнеутверждающую правду грядущей победы.

Поэзия создавалась в землянках и траншеях, в быстротечные часы затишья. Тут же, рядом с писателем, находился его читатель и его герой. Никогда, вероятно, они не были так близки и в прямом и в переносном смысле слова. Автор и читатель делили на двоих пайку хлеба, укрывались одной шинелью, один другому бинтовал раны, и если смерть настигала одного, второй предавал земле тело товарища.

Надо было писать очень быстро, надо было находить форму, обеспечивающую максимальную доходчивость, доступность написанного. В поэзии преобладает корот-

